

# Мой арест!

Давно уже мне хочется рассказать о моей жизни детям, близким. Может мой рассказ окажется им полезен в каком нибудь отношении. Почему мне так трудно это сделать? Никаких литературных претензий у меня нет, казалось бы это должно облегчить исполнение моего желания.. Но кажется я уловила в чем дело. Когда я, очень редко, рассказываю о пережитом, у меня каждый раз возникает ощущение, будто все это случилось не со мной, что я рассказываю о какой то полузабытой мною личности, полузабытие, полуутуманные воспоминания! И действительно, все было как в тумане сне.

Этот рассвет 20 октября 1937 года.

Охранник с лязгом отворил дверь тюремной камеры и втолкнул меня туда. В глазах у меня зарябило. Я вертела своей и без того, одурманенной головой во все стороны, не в силах разобраться в том, что представилось моим глазам. В мою сторону вытянулось множество голов, множество глаз уставилось на меня, какие то сдавленные голоса окликали, звали меня по имени.

Я стояла, не двигаясь с места, не выпуская из рук узла. Постепенно мысли стали проясняться: это были тбилисские женщины, в большинстве мои знакомые. - "Значит я не одна" - мелькнуло у меня в голове..

Это был массовый арест "жен" в ночь с 19 на 20 октября.

Мне задавали какие то вопросы, я все еще онемевшая, вошла взглядела по испуганным, заплаканным лицам. Оказывается их всю ночь привозили в тюрьму.

Вся камера была заставлена железными кроватями, на досках лежали черные матрасы с соломенной трукой. На кроватях, как сельди в бочке, лежали женщины.

Вдруг зарыдала и начала неистово кричать одна, за неё другая, третья - все, в том числе и я. Загнул затвор и в

дверь просунулась сердитая голова охранника. Он приказал замолчать, угрожал карцером. Казалось все места были заняты, но где то нашлось место для меня, и я 4 с половиной месяца пролежала на этом месте, закатая между Терезой Сахокия и пожилой коммунисткой Маро Долидзе.

В камере только у дверей оставался свободным квадратик пола, на котором вилотную к кроватям стоял кривой некрашеный столик, в самом углу квадрата, почти у дверей стояла параша. "Вот она, оказывается, какая. Как же ею пользоваться на виду у всех". Рано утром принесли пайки черного, плохо пропеченного хлеба и бидон с кипятком. Такая пища тоже была издевательством.

В последующие дни и ночи дверь то и дело отворялась и в камеру вталкивали "новеньку". Ее зашивали между собой, лежавшие валетом женщины.

Не могу вспомнить, как я узнала, что я ЗК, ЧЛЕН СИМЫ ИЗМИНИАНИКА РОДИНЫ-ЧСИР. Осведомили меня об этом, арестовавшие меня полуграмотные паки в форме НКВД- Арутбнов и Гарибджанов, когда предъявили ордер, или просветили женщины в камере.

Тогда, на рассвете 20 октября долго не могли привести в себя прелестную молодую женщину, мою приятельницу Маро Хоперия. На ее мертвенно белых щеках неподвижно лежали длинные, густые ресницы. Почему то эта картина запомнилась мне очень ярко.

То и дело начинала рыдать худенькая, симпатичная армянка, мать четырех малолетних детей, если не ошибаюсь, по имени Лосик. Ее рыдания мгновенно как пламя, перекидывались на остальных. Охранник, то в глазок, то приотворив дверь, орал и угрожал карцером, но что он мог сделать со всей камерой. Когда за мной захлопнулись тяжелые тюремные ворота она забыла в какую то неопрятную контуру. Там стояли несколько арестованых женщин. Нам задавали какие то вопросы, выясняли личность

и что то записывали в конторскую книгу. Вдруг один из сидевших за столом грубо схватил мою руку и как то странно повернул кисть. Это было неприятно, и я вырвала ее из его руки. Он рассердился и снова схватил мою руку и силой придав ей нужное положение, придавил мои пальцы к черной пластинке. "А-а, вот оно что - наконец сообразила я снимают отпечатки пальцев". Как страшно, будто я разбойница!

Все четыре с половиной месяца, но уже гораздо реже, за неимением места, приводили новеньких. Все кидались к ним с распросами, в надежде чтонибудь узнать о своих детях и родных. От них узнавали о новых и новых арестах, казалось уже никого не оставалось там, на воле.

Дети! Что с детьми? Ходят слухи, что их не оставят у родственников, а развезут по детским домам по всей стране. Дети - кто их приютил? С кем они, не забрали ли их в детской дома. О детях не могли не думать ни минуты.. Но говорить о них было как-то жутко в этом грязном, страшном, позорном мире.

Мы очень скоро узнали, что творилось там, в НКВД.

В торые же нас женщины не допрашивали и не били. Им было не до нас. Они были перегружены более важными делами.

Когда в два часа ночи пришли меня забирать, моя 10 летняя дочка проснулась от шума машины у подъезда и, как не странно закричала: мама, это за тобой". Странно, потому что это была первая облава на "жен". До этого никому и в голову не приходило, что жен будут арестовывать. Во все время обыска моя девочка, как волчонок, злыми глазами следила за действиями следователей", как они называли себя. Потом я узнала, что они были шоферами в НКВД, т.к. хватало следователей, и шоферов привлекли к другой деятельности.

"—Зачем вы берете фотографии папы и мамы, они ведь вам не нужны — с ненавистью спрашивала их моя девчурка. Я старалась ее успокоить знаками, словами, лаской, но напрасно. Она так и вела себя до конца, а все это длилось, что то около 3-х с половиной, 4 часов.. Моя младшую трехлетнюю доченьку, моя мать увезла в Батуми, куда ее вызвали по делу. Сейчас она, вероятно, спит себе безмятежным сном и не ведает, да и не ~~гоймет~~, какая беда нависла над ее маленькой головкой.

Мои новые соседи Фидельманы /он был скрипачом в оперном оркестре/, которых вселили в мою квартиру, оставил мне с детьми одну комнату — и носа не показали, а впоследствии хорошо пограбили все, что оставалось в комнате.

Следователи мне разрешили /а это было везением, как я потом узнала взять с собой кое-какую одежду, только не в чемодане. Я собрала кое — что завернула в тонкое стеганное одеяло, и с этим узлом следователи вывели меня с девочкой из дома и посадили в машину. Девочку они довезли до дома, где жили мои родители и вели ее подняться наверх по лестнице. Вот тут-то впервые заплакала моя девочка и вместе с ней и я. Она вбежала в подъезд, и было еще не светло, но я увидела как она повернула ко мне залитое лицо, протянула ко мне руки и закричала—мама, мама!

И все-таки было какое то чувство облегчения. Ведь все четыре месяца после ареста мужа я задыхалась, надо мной висела зловещая туча, ведь я стала совсем одинокой. С болью и стыдом в сердце от меня отвернулись друзья и знакомые. Все смертельно ~~боялись~~ общаться с нами. Только родители и некоторые ближайшие родственники не гнали нас от себя. Раз, когда я шла единственным теперь моим путем — в комендатуру НКВД, возле меня остановился трамвай подъема на улицу Чавчавадзе. В тамбуре стоял Тициан Табидзе.

При виде меня он побледнел и судорожно кивнул мне головой, но не сошел с тумана, не подошел, не спросил как я существую.. А он был одним из ближайших друзей моего мужа и меня тоже. Много позднее, после возвращения из лагеря, я узнала от его жены, что вернувшись домой Тицран плакал, как ребенок, и у него был сердечный приступ.

Мы, жени сидели в своих нюрах, как зачумленные. Выходили только в комендатуру НКВД, в надежде узнать чтонибудь новое, ведь мы все время были в ожидании, что все разъяснится, что кончится эта страшная трагедия, все станет на свои места. Кроме того мы пытались передать небольшую, разрешенную сумму денег заключенным, но ее удавалось передать с большим трудом через многодневное стояние в очереди и, как потом мы узнали, передачу принимали и для расстрелянных уже людей. Наконец то вот я в обществе себе подобных, несчастных, раздавленных существ.

По утрам нас вывозили на оправку. Мы с трудом волочили ноги по коридору, они отныне ходить. Мы ведь лежали выпотную друг к другу валетом, и когда поворачивалась одна, весь ряд выпущен был повернуться. В туалете нам отпускалось очень мало времени, но мы все же ухитрялись обтереться мокрым лоскутом. В дверь раздавались удары кулаком, охранник торопил, а нас было 100, а потом и 120 человек. Однажды неожиданно раздался такой громовой удар в дверь, что одна из женщин, фанка Нина Квачадзе упала в обморок, мы на руках отнесли ее в камеру. Сирые, грязные стены умыливали и уборной с потухшей краской были сплошь исписаны надписями, сделанными ногтем или случайно не отбариной головкой шилькой. В этих надписях мы спрашивали о детях и новенькие из других камер часто сообщали нам вести тем же путем. Время от времени надписи стирали, нас предупреждали прекратить переписку и грозили

карцером, но переписка все равно продолжалась. Было жутко читать святые имена детей на этих смрадных, позорных стенах. Периодически нас спускали в баню, давали по кусочку мыла. В бане была такая же сумасшедшая спешка, вслед за нами должны были пройти и другие камеры. Едва успевали помыться, ведь нас было около 120 человек.

В камере, посередине потолка круглосуточно горела сильная электрическая лампа, мы были вынуждены прикрывать глаза чем нибудь. Громко разговаривать не разрешалось, но и от шепота в камере стояли тихи.

Через месяц – полтора у всех прекратились регулы. Это было спасением во всех отношениях. Мучительно и стыдно вспоминать, как ухищрялись женщины с ними справляться, не имея ничего необходимого для такого случая. Старосте иногда передавали пакет ваты и пачку бинта на всю камеру. Общение с удаленными углами в камере было затруднительно из-за того, что приходилось перешагивать через лежащих, а это вызывало недовольство последних. Но ближайшие соседки быстро сближались и старались поддержать друг друга, как например я с Тerezой Сахокией.

Мы легко переходили от отчаяния к надеждам, то надеялись, что Сталин, узнав о происходящем, наведет порядок и накажет виновников такого чудовищного массового истребления лучших людей страны, то с ужасом расстреляют.

7 ноября к нам в камеру глухо донеслись праздничный шум и музыка. Многие, особенно члены партии, плакали горючими слезами. Так же мучительно переживали мы и Новый Год. Люди на воле веселятся, хотя и на воле царят страх и уныние, но мы изнываем от

страданий, оторванные от детей, не зная, как они и что их ожидает, мы ни в чем неподозримые. В канун Нового Года из камеры над нами спустили на ниточке спичечный коробок, в котором лежало несколько долек мацдариана, одна конфетка и нацарапанное на кусочке бумаги поздравление с пожеланием верить в счастливый исход трагедии. После стука в потолок коробок спустили с верхней форточки, в щель между щитом и форточкой. Одна из наших женщин, став на плечи другой, дотянулась до нашей форточки и поймала коробок. Этот новогодний подарок вызвал много слез и умиления. Инициатором этой затеи была Тина Эмава, удивительно смелая при своей нежной и женственной внешности, молодая женщина.

Очень активно перестукивались по всей тюрьме. У нас была способная "телеграфистка" Ида Ахвердова. На глазах у всех она совершенствовалась в этом искусстве, и новости при каждой возможности выступали от нас и к нам. Для этой деятельности помимо способности, нужны были также и большая находчивость и мужество.

С первых же дней заключения мы узнали о многом страшном, и епредставимом, что творилось в НКВД. А поступали сведения не только по телеграфу, но и из больницы, куда отправляли заключенных с серьезным заболеванием. Там они встречались с узниками НКВД, которых присыпали к нам в больницу на поправку после репрессии. Слегка подлечившихся следователь вновь забирал для дальнейшей обработки.

В камере то и дело слышались рыдания, а иногда плакали и кричали всей камерой. Тогда в дверь грохно стучали, потом с лязгом засов, и охранник орал и угрожал карцером, но что бы поделать со всей камерой.

— Так вам и надо, хватит вам спать на фрак крават! — любил повторять один из охранников, мы его так и прозвали "фрак крават".

Временами от голода мы забывали о своем горе, но это длилось не долго. Баланду, то есть, суп на машинном масле, как мы решили, многие не могли проглотить. Иногда в нем вылавливали мелкую картошку, как ее называли "прапнель" иногда из этого пойла выбирали ложку каких то незнакомых зерен, и это было удачей, а второе блюдо — размазанную по железной тарелке кашу, тоже из загадочной крупы проглатывали моментально. Кусок черного хлеба с закалом и малосенький кусочек колотого сахара съедали с удовольствием, заливая кипятком, иногда чуть жалтым от какой то непонятной заварки. Иногда кто нибудь из женщин, осторожно выглядывая в глазок, видел, как охранник воровал из нашего скучного, мелко нахолотого рациона.

Как то по телеграфу, по просьбе Кетуси Оракелашвили, только что привезенной в тюрьму, передали, что меня наверное выпустят, так как мои две работы, скульптурные портреты Л.Кесековели и С.Орбеконишвили, бывшие на выставке в тбилисской галлерее, послали в Москву. Я какое то время пребывала в сладких мечтах. В камере было очень грязно, она никогда не убиралась. Над нами висела пустая паутина, и по ней иногда бегали мыши. Мы же изнывали от бедалья, нам мучительно хотелось поработать, убрать наше жилье, но это было запрещено.

Мы с нетерпением ожидали, когда нас вызовут на допрос, готовились к нему, советовались между собой, как там разговаривать, но увы им было не до нас — мен. Они были предельно заняты более важными "преступниками". Ни одни из нас не вызывали, и до сорока ли. Уж не знаю, как в камере у нас оказалась иголка, все же среди себе, что то шили, выдергивая нитки из какой-то одежды.

Когда в глазок подсмотрели, что мы пьем, охранник ворвался к нам и стал искать иголку, но мы передавали ее из рук в руки. Кого то все же повели в карцер на одни сутки. Наказанная была счастлива вернуться в камеру все равно, как в отчий дом. Часто к нам явился надзиратель, молодой человек в штатском костюме, очень тщательно причесанный, в хорошо отглаженной сорочке, с галстуком на шее - некто Надареишвили. Он был невысок ростом, пышущийся и явно хотел нравиться "пленницам", среди которых, несмотря на голодный рацион и растрепанные волосы, ибо пыльники были отобраны при обыске, было много прелестных созданий. Не знаю, кто и почему назвал этого надзирателя Ленским, очевидно в насмешку, но все женские камеры так его называли. "Ленский" с каким то дурацким самолюбованием демонстрировал свою власть над нами, угрожая карцером. Мы понимали это, как замаскированное ухаживание.

У меня разболелось горло, поднялась температура до 40<sup>0</sup>С, меня отправили в больницу. Там я встретила много изможденных женщин из разных камер. Среди них были и присланые на " поправку" больные из НКВД. Одна из них высокая и предельно высокая, в длинном балахоне все время ходила, опираясь на длинную палку. Она производила зловещее впечатление, несмотря на прекрасные черные глаза с голубыми белками и следы былой красоты на пергаментном лице. Мне оказали, что это Варя Кевлишвили -- секретарь Каспского Райкома партии. Она была из передовых комсомолок. На воле я часто слышала о ней, ее гордились, говорили - "вот какую комсомолку мы воспитали". Семимесячная беременность Варя обсолютно не замечалась по ее истощенной фигуре. Ее серое лицо и неподвижные, словно замалевые, глаза с голубыми белками сильно привлекали к ней внимание. Это была фанатически преданная

командистка. Она старалась всех нас уверить, что вся эта трагедия скоро прекратится, что всем надо писать Сталину, чтобы поставить его в известность о происходящем. Она при мне попросила бумаги и чернила /что не всем давали/, написала горячие, праздничное, волнующее письмо обожаемому вождю и передала его для отправки. Но, оказывается письма заключенных никуда не отправлялись, а если отправлялись, то там их никто не читал. Температура у меня держалась высокая, поэтому, когда на следующий день в больницу приехал консультант - лоринголог, меня ему показали. Это был мой старый знакомый, добрый, очаровательный человек - Давид Джапаридзе. Он сделал вид, будто никогда раньше меня не видел и, осматривая горло, погладил меня по голове и шепнул, что пойдет к моим родителям и скажет обо мне. Торжественному же врачу он сказал, что у меня ангина в тяжелой форме и, что в следующий приход, он посмотрит меня. Потом я узнала, что он исполнил свое обещание, но в тюрьме мы с ним больше не встречались. К несчастью через три дня температура у меня спала, и меня отправили в камеру. Вскоре в больницу послали какую-то женщину из нашей камеры, и когда она вернулась, рассказала, что Веря родила разложившегося во чреве ребенка и умерла. Перед смертью она звала Сталина и жаловалась ему, что ее беспощадно избивали, и когда она просила пощадить ребенка в ее чреве, ей отвечали: - "пусть змесеный умрет вместе со змеей".

Как то отворилась дверь нашей камеры, и в нее втолкнули двух женщин, по виду мы сразу признали в них давних заключенных. Это были мои старые приятельницы Хатуна Чичинадзе и Маруния Агниашвили. Их привезли из НКВД "на передышку". После безчисленных избиений, они мочились кровью. Их все ласкали, все

гали потесниться, чтобы сразу уложить их и дать им отдохнуть. Но выражение их лиц было какое то отчужденное, далекое. Они как то медленно входили в контакт, даже с близкими им женщинами. Вдруг Хатуна пошатнулась, задрожала и что то шепнула Маруне. Глаза у Маруны засиялись гневом, она не спускала глаз с одной из заключенных, привезенных к нам из НКВД. Это была совсем молодая, коренастая армянка по фамилии мужа, не то Байко, не то Бабко, не то, что то в этом роде, не могу припомнить. Она была со всеми очень предупредительна и услужлива, при общении производила впечатление добродушного, слегка недоразвитого подростка. Но ей ходили недобрые слухи, мы все были осторожны с ней. Вдруг Маруна, перескакивая через лежащих, ринулась к ней и ударила ее по лицу, женщины с трудом оттащили от нее Маруну- "Проклятая, - она избивала Хатуну на допросах, она член бригады избивателей, она не знала пощады к жертвам" - кричала Маруна. Так мы узнали наконец правду о Бабко, узнали также, что она в чем то провинилась и сама была арестована. Говорили, что она в своей деятельности иногда проявляла симпатию к некоторым заключенным, в особенности к Сарии Лакоба, о которой ходили легенды по всей тюрьме и НКВД. Обо всем этом мы конечно узнавали по телеграфу. После ареста, попав в одну камеру с Сарией, Бабко, остановилась на колени перед койкой Сарии и целовала ее избитые ноги. Сария была великомученицей в полном смысле этого слова. Ее безощадно мучили, следователь накручивал ее длинные волосы на руку и крутил ее вокруг себя. Она не издавала ни звука. После избиения люди невольно выглядят жалкими и униженными, с Сарией было не так, казалось, она сама унижала следователей своей волей. С допроса она вошла с поднятоей головой и с сжатыми губами, а ее преступления

лицо излучало какое то неземное сияние. Но когда ей помогали раздеться и лечь, на теле у нее видели страшные следы ударов бичом с железным наконечником. Эта женщина не хотела подписывать обвинение против умершего мужа. Она говорила, что, если бы он был жив и мог защитить себя, она возможно поддалась бы уговорам, но как можно предавать и клеветать на мертвого. Она была глубоко религиозна и видимо это поддерживало ее. В камере все ее обожали. Она всех ободряла, утешала, ласково и терпеливо ухаживала за избитыми. Лицо Сарии с каждым днем становилось все изможденнее, но все прекраснее.

Ей угрожали, что арестуют ее 14 летнего сына. И действительно, на одном из допросов она услышала в соседней комнате голос своего Рауфа. Мальчика втащили в кабинет, он с плачем кинулся к матери и стал упрашивать подписать то, что требуют от нее эти дяди". Сария сказала: "сын мой, они требуют, чтобы я написала", что отец твой был предатель и изменник родины. Мальчик перестал плакать "Нет, этого ты не должна делать" – твердо сказал он. Дальнейшая судьба Сарии не совсем ясна, но слухов об ее расстреле к нам не доходило. Вероятнее всего, что ее не успели расстрелять, под допросами она умерла своей смертью, угасла как свеча. Рауфа через два года, когда ему исполнилось 16 лет, расстреляли. Маруя и Хатуна не долго оставались у нас. Они каждый раз скрывались от страха, когда отворилась дверь камеры. Но вот однажды вошел охранник и увел их, оставив всех нас в тягостном настроении. Вскоре их расстреляли, ведь они когда то позволили себе рассказывать анекдоты о Берии и насмехались над ним. Прошло месяца три после моего ареста, и мы услышали какой то непонятный звук и напись

множества ног по коридору. Оказалось, что идет уборка камер по очереди. Так как наша была крайней в наш коридор загоняли поочередно женщин из разных камер, чтобы освободить их для уборки. У наших дверей в глазок тихо просили, подойти то одну то другую из нас. Меня вызывала Нина Бедия. Мы знали, что ее привезли из НКВД очень избитую. Я очень волновалась, когда подошла к двери. Нина сказала - "прости меня Раиса". Я сказала - "все понятно". Дело в том, что после ареста мужа, я в отчаянии пошла к Бедии узнать чтонибудь, понять чтонибудь вообще, искать защиты от ставшего враждебным мне мира. Эрик Бедия был одним из секретарей ЦК. И жена и муж были очень близки с моей семьей, не так с моим мужем, как с моими родными, особенно с сестрой. С Ниной мы дружили еще в Батуми, где мы родились и выросли. Я с сестрой с вечера до поздней ночи ждали Эрика, который поздно вернулся после совещания в Закрайкоме. Нины не было дома, она ~~была~~ в отъезде.

Эрик мрачно взглянул на меня и сказал - "Твой муж предатель, изменник родины, брось о нем думать и смотри за своими детьми". Может он уже знал, что жен юдет арест. Мне показалось, что я полетела в пропасть - "Это же конец, если Эрик говорит такое, то чего не можно ждать от других. Значит я погибла, значит нет мне места на земле возле моих детей" - Слезы полились у меня грж дом. "Чего ты плачешь" - завопил Эрик. Моя сестра с ненавистью посмотрела на него и сказала - "ты еще спрашиваешь, почему она плачет, злодей, вот ты какой оказывается".

-"Я же не скажу такое про твоего мужа, мы знаем, что он честный коммунист, порядочный человек - проговорил Бедия.

Ни единой минуты я не сомневалась в невинности моего мужа. Острая жальность горела в сердце. Мы ушли от Бедия убитые. В ту ночь сестра и мать не отходили от меня, они почувствовали, что у меня что-то не хорошее на уме. Через несколько дней Нина Бедия, встретившись с общей подругой, повторила слова мужа и добавила, что ей очень жаль меня и детей, но Арчил Микадзе - негодный и изменщик.

Кое о чём мы успели поговорить с Ниной через дверь, затем снова поднялись шум и шарканье, и женщины увезли. Была очередь уборки нашей камеры, и нас выгнали в коридор.

Нину Бедия вскорости вызвали и увезли. Про нее рассказывали, как мужественно она держалась на допросах, как осмыкала проклятиями Берия, который присутствовал на некоторых ее допросах. Она кричала, что он присвоил авторство, написанной Зриком книжки, "История закавказских большевитских организаций" и хочет от него избавиться - но запомни, тебя повесят как собаку" - кричала она, не смотря на то, что бригада избивателей безжалостно избивала ее. Ее расстреляли.

Никто из нас не знал за что арестовали наших мужей, ни у кого не было сомнения в их невинности.. Нас жен забрали, как имевших понятие о преступлениях мужей и не донесших на них, так во всяком случае мы думали. Если бы они занимались нелегальной работой, действительно полностью не могли бы утаить тайну от нас.

Было мучительно представить себе мужчин, еще недавно считавших себя чуть ли не хозяевами страны, голодными, избитыми, униженными, ослабевшими до последней степени. Мы ведь уже знали, что с ними делают. По большей части полуграмотные, глупые, самонадеянные следователи избивают их голову и войдя в азарт покрываются

красными и белыми пятнами, зверят горе допрашиваемому. Многие из этих садистов издеваются над голодными людьми и с особым смаком крут вкусные завтраки во время допросов. Какое страшное общение этих двух миров, вернее немыслимость общения.

Думая об этом, с трудом удерживаясь от пронзительных криков, готовых вырваться из груди. Но не надо, не надо думать не надо позволить себе сойти с ума. Безконечные слухи, утки, как мы их называли, ходили по тюрьме - то нас отпускают в связи с чем то, то нас собираются расстрелять, то нас высылают в дальние лагеря... Мы находились то в глубокой апатии, то в каком то болезненном возбуждении. По телеграфу мы знали, что Герман Мгалоблишвили советовал товарищам "сознаться" во всех, самых чудовищных и нелепых преступлениях, вымыщенных следствием, лишьбы спастись от смертельных побоев, ибо считал, что скоро все должно прекратиться, лишь бы дотянуть до этого. Но по телеграфу же нам сообщили, что Германа видели чудовищно избитым. Бедняк после допроса тащили, как, мешок с костями. Тем временем месяцы проходили за месяцами, мы все больше верили, что нас вышлют куданибудь на север. Нужна была теплая одежда. Многие были в летних платьях, в которых их арестовали. До некоторых камер доносился гул многочисленной толпы, которая день и ночь стояла в очереди, чтобы передать одежду. Видимо и на воле ходили слухи, что нас вышлют. Еду, конечно, не принимали. В каждой камере несколько счастливцев получали передачу, и снова родные на целые сутки становились в очередь.

Толстая, бездетная, сварливая М.И. попросила моя Терезу написать для нее записочку на огрызке бумаги к родственнице находившейся в одной из камер. Она узнала, что в той же

SON LAB

не была цель, куда можно было просунуть записку. Тереза решила тоже попытаться узнать чтонибудь о дочери, и тоже написала. Написала и, присланная к нам на время из НКВД, Ахундова. К несчастью после нашей камеры в туалете произвели обмык, и надзиратель "Ленский" появился у нас с тремя записками в руках. Он заявил, что если авторы записок не признаются, камера прекратит передачу одежды. Тереза Сахоккия и Ахундова сразу не признались, но "Ленский" требовал, чтобы созналась и третья. Но М.Г. молчала. Тогда надзиратель заорал, что Сахоккия, почерком которой написана и третья записка, получит 10 дней карцера вместо пяти. Тут я и другие женщины накинулись на М.Г. и заставили ее сознаться. Всех троих посадили в карцер на пять суток. Карцер оказался комнатой в самой глубине подвала. На цементном полу лежала охапка сырой соломы, стояло ужасающее зловоние, так как из карцера не выводили в туалет. По утрам наказанным давали кусок непропеченного черного хлеба и кувшин воды на весь день. Наша женщины вернулись в камеру еще более исхудавшие, грязные посеревшие.

Из соседней камеры простучали, что привели новую заключенную Нину Гегенава. За ней оказывается, приходили и раньше, но ее грудной ребенок был болен склератиной, и ей дали отсрочку. Ее с поправившимся ребенком и с двумя малолетними мальчиками повезли далеко за город, и там, возле насосех организованных яслей, стали отрывать от груди девочку, которая не отпускала материнскую грудь и укусила ее до крови. Мать вместе с двумя мальчиками повезли дальше. С грохотом отворились перед ними тяжелые тюремные ворота, мальчики с рыданием рванули к другой следователем матери, мать из рук следователя рванула к другой

SONLAB

Ворота захлопнулись. Мальчики кулачками стучали в них и пронзительно кричали — мама! мама! Их быстро увезли. Нина была как помешанная, она не проронила ни одной слезы, только в глазах у нее светилось сухое, мрачное пламя, женщины массировали ей грудь и выдавливали в парашу молоко.

Наступил март месяц, он был на редкость холодный, снежный и вьющийся. В просвете между форточкой и щитом мы видели, как густо падает снег. Однажды вечером нас неожиданно стали выводить группами из камеры. Поднялось неистовое волнение — Видно на допрос — ремнили мы, и каждая стала репетировать, что и как будет говорить. Мы толпились в коридоре в ожидании допроса. Но дело обострало иначе. Появились какие то люди в военном и стали вызывать каждую из нас по фамилии, имени и отчеству и зачитывать нам, приговоры вынесенные. Приговоры были от трех до пяти и восьми лет, трехлеток было совсем мало. И получила восемь лет. Мы плакали, тревожили допроса, некоторые отказывались подписывать приговор, но это не имело никакого значения. То же самое было проделано и с несколькими другими камерами. Мы стали ждать этапа. Вечером восьмого марта нам приказали собрать узлы, у кого имелось. Мы оделись в теплую одежду, с неимевшими ее поделились имеющие. Потом стали выводить и спускать во двор одну камеру за другой. Через огромный тюремный двор нас долго вели куда то. Мы, отрываясь от ходьбы, то и дело останавливались, приседали, чтобы заглушить боль в бедренных суставах. На нас орали и торопили. Наконец нас вывели на какую то пустынную, ярко освещенную электрическим светом площадь, где стояли ряды студебекеров. До нас донеслись глухой гул и пронзительные вскрики. Это, стоявшие в очереди по ту сторону тюрьмы наши родные, 

зом догадались, что нас увозят и пришли в страшнейшее волнение. Тут мы зарыдали и, вероятно, в очереди тоже слышали гул и вскрики из нашей, обезумевшей от горя толпы. Нас отрывали от детей и родных, от родного места, от всего, что составляло нашу жизнь. Ветер неистовствовал и крутил густо сывающиеся снежинки. Мы стояли согнувшись от холода, нас долго держали перед посадкой в грузовики, в ожидании заключенных из других камер. Все это время, мы то явственнее то глушше слышали гул и крики, это наших родных то и дело отгоняли подальше, но они снова и снова рвались назад. В ответ мы рыдали еще сильнее. Наконец нам приказали погрузиться, мы одна за другой вскарабкивались на грузовики и садились на пол. По углам каждого из них стояла охрана-четыре молодых парня в огромных меховых шубах и шапках, с ружьями на изготовку. Их специально привезли из России для такого случая. Нас отрывали от всего, что мы любили и чем жили, увозили неизвестно куда, может быть на расстрел. Мы, на переставая плакали, причитали. Машини долго держали на месте, все не могли наладить свои дела. Парни в меховых шубах с удивлением смотрели на нас, но скоро в чем то разобрались, благодаря нашим воплям и причитаниям. И как мы были потрясены, когда они ласково заговорили с нами и стали нас утешать. Не плачьте, женщины, не горрайте, не бойтесь ничего. Сталин узнает, как мучают невиновных матерей, и скоро вас отпустят домой, к детям, — говорили они нам.

Нас засыпало снегом, мы дрожали от холода, наконец все было готово к отправке, и грузовики стали с шумом разворачиваться. Услышав шум машин, очередь обезумела, гул вырос невообразимо. В ответ мы разразились душураздирающими рыданиями и скрипом

выкрикивать свои имена. Под гул потрясенной горем очереди грузовики набирали скорость. Нас отрывали от Тбилиси. В той очереди оказалась и моя мама.

Нас привезали в Навтлуг, на запасном пути стоял длиниций зшелок. Разгрузка машин тоже шла медленно. Постепенно разгружали грузовик за грузовиком, и по трапу нас загоняли в вагоны. Это были скотские вагоны, в которых очевидно незадолго до нас перевозили овец, весь пол был усеян свечным пометом. По концам вагонов были наспех сколоченные, сплошные нары в два этажа. У верхней нары была маленькая форточка. Некоторым повезло они оказались у форточки.